



Исчезновение

С Аввакума сына Петрова, пророка, дымом восшедшего в небо севера, начинается русская литература — и Георгием Владимовым, последним из тех, чье слово имело вес, плоть и боль, заканчивается она



Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

18:42, 16 января 2026,

Алексей Поликовский

обозреватель «Новой»



Гонимая, пинком вышибаемая вон, как вышибали из барских хором рифмоплета Тредиаковского, сидящая в кутузке за некролог Гоголю, как сидел Тургенев, отправляемая по этапу, как отправляли Чернышевского и Шаламова, получавшая пулю в подвале, как получили Бабель и Пильняк, бесследно исчезающая в общих могилах, как исчезли Кин (см. сноску 1), Васильев (см. сноску 2), Новиков (см. сноску 3), Мандельштам и другие, — русская литература через годы и века сохраняла свое значение и предназначение.

Оно состояло... В чем же оно состояло? Ведь литература не партия, чтобы объединяться вокруг программ, не общество с единой идеологией. Она делалась людьми, каждый из которых был сам по себе и в ногу с другими не ходил. Из разных и очень разных людей состояла русская литература за три века ее существования — из попов и шутов, из алкоголиков и эпилептиков, из пророков и святых, из князей и разночинцев. И убеждения у них были разные, и споры между ними бывали страшные, и лбы их трещали, когда они словами мутузили друг друга. Но все же было что-то одно, что связывало и роднило их, таких разных, — столь глубоко скрытое в сердце, что не увидишь, не скажешь.

Это боль. Это ощущение жизни открытым сердцем и без наркоза лжи, это отношение к человеческой жизни как самой великой ценности.

Нет ничего общего между тонким в чувствах и словах Тургеневым и грубым в манерах и языке Писемским. Нет ничего общего между флегмой Гончаровым и бешеным в своем темпераменте Лесковым. Мало общего между Булгаковым в пристегивающих потрепанных манжетах и Пильняком в американском щегольском пальто. А все же общее есть, но оно неуловимо в слова и растворено во всей русской литературе.

Воздух русской литературы — ее боль, ее страдание, ее приверженность человеку, ее правда.

Ах, какие немодные, неловкие, даже стыдные слова. Их лучше избегать, чтобы не показаться архаичным и смешным в эпоху всеобщей относительности.

Синявский, у которого были не политические, а эстетические расхождения с советской властью (приговор семь лет лагеря), однажды написал, что

правда не в том, чтобы говорить вещи, и без того всем известные и понятные, а в том, чтобы свою правду положить поперек правды общепринятой и всем известной.

Этим и занималась русская литература.

Сказать правду о себе часто труднее, чем о других.

Протопоп Аввакум правдой гвоздил направо и налево — кого увидит, тому правдой в лоб и даст, за что его в ответ били нещадно. Не словами, а кулаками, а однажды даже доской. Но он и себя самого правдой о себе гвоздил так, что это можно назвать членовредительством. Ну и правильно поступал бешеный поп, Христос в Нагорной проповеди такого и требовал.

Толстой в своих дневниках и поздних текстах говорил правду о себе с ожесточением, доходящим до отчаяния, клеймил себя правдой, казнил себя правдой. И доказнился до смертной койки в чужом доме на железной дороге.

Лесков, исстрадавшийся до того, что не мог ни есть, ни спать, в своих мыслях и словах смешивал себя с грязью, потому что знал

себя.

Гаршин познал правду жизни с такой резкостью и ясностью, что не мог больше жить — бросился в лестничный пролет.



Фото: Олег Елков / ТАСС

История русской литературы ужасает. Батюшков сошел с ума, Арцыбашев стрелял в себя, Соболь застрелился на бульваре, Николай Успенский перерезал себе горло, Помяловский допился до смерти, Добычин вышел из дома и исчез, Рид Грачев на несколько десятилетий впал в прострацию. Двоих убили на дуэлях, двое повесились. Можно продолжать, но хватит.

Эта доходящая до степени невыносимости сила чувства, эта невозможность хоть немного облегчить себе жизнь привычным для людей лицемерием, эта напряженная и всегда ищущая мысль и необходимость упорно и непоколебимо задавать вопросы, на которые нет ответа, — и есть русская

литература.

Так, с таким мучительным вниманием к несправедливости и боли вокруг, нормальный человек жить не может.

Нормальный человек хочет счастья, а русский писатель правды. Поэтому русский писатель — всегда несчастен.

Несчастен Гоголь, пишущий безумную инструкцию по общему переустройству жизни на основах Христа, несчастен Толстой, ежеминутно пытающий себя жестоким самоанализом и прячущий дневничок с саморазоблачениями в голенище сапога, несчастен старый холостяк Гончаров, выживавший себя в мучительном многолетнем труде, несчастен Тургенев, живущий приживалой в чужом доме и однажды зимней ночью идущий в парижскую тюрьму смотреть на приготовления к смертной казни и утром на площадь смотреть смертную казнь.

Зачем ему это? Сидел бы в своем маленьком, изящно обставленном кабинете на верхнем этаже дома Виардо в окружении красивых безделушек и писал бы о курских соловьях, о русских крестьянах, о загадочных девушках... Так нет же, потащился в тюрьму смотреть на смертную казнь! Семь часов провел в Рокетской тюрьме, наблюдая приготовления, а момент лишения человека жизни не захотел и не смог смотреть, отвернулся на двадцать секунд...

Двадцати секунд хватает, чтобы убить человека.

Всем известны романы и повести Тургенева, но сильнее романов говорит о том, что такое сердце писателя и что такое русская литература, небольшая его вещь «Казнь Тропмана». Тропман — убийца целой семьи, включая детей, которые в

мольбе протягивали к нему руки и звали уже убитую мать: «Ах, мама, мама!» Вина его доказана и безусловна. Но все-таки «мысль, что мы никакого права не имеем делать то, что мы делаем, что, присутствуя с притворной важностью при убийстве нам подобного существа, мы ломаем какую-то беззаконногнусную комедию, — эта мысль в последний раз мелькнула у меня в голове».

«Я не мог отвести взора от этих, некогда обагренных невинной кровью, теперь беспомощно друг на дружке лежавших рук — и особенно от этой тонкой, юношеской шеи... Воображение невольно проводило по ней поперечную черту... Вот тут, думалось мне, через несколько мгновений, раздробляя позвонки, рассекая мускулы и жилы, пройдет десятипудовый топор... а тело, казалось, ничего подобного не ожидало... так оно было гладко, бело, здорово...»

Так что же, дорогой Иван Сергеич, как далеко простирается ваше сострадание человеку? Сочувствует ли русский писатель убийце в его смертный час? Можно ли сочувствовать? Вопросы эти не надо задавать, они непристойны, неприличны, человек только внутри себя может задавать их самому себе. Они ввергают высокого, робкого, чувствительного Тургенева в ступор и заставляют его в страдании сжимать и мять свои большие белые руки.

«Мне вдруг стало холодно, холодно до тошноты».

И нас тоже пробивает этот холод.

Это и есть русская литература.

Человек, по собственной воле идущий смотреть смертную казнь, хотя бы это была смертная казнь не человека, а коровы — Лев Толстой в

Туле ходил на бойню, — после увиденного не может быть счастлив никогда,

но он все равно идет, потому что должен увидеть, почувствовать, понять и написать всем о том, что понял.

За тринадцать лет до того, как Тургенев пошел в парижскую тюрьму смотреть на казнь, молодой и еще не известный человечеству граф Лев Толстой в швейцарском городе Люцерне вошел в дорогой пятиэтажный отель «Швейцергоф», получил номер на верхнем этаже и под его окнами увидел бродячего нищего музыканта, который пел и играл на гитаре для гостей отеля. Богатые люди стояли на балконах, слушали, как он поет, видели, как он трижды подходит под окна и балконы с протянутой старой фуражкой в руке, и не дали ему ни копейки. Холодная равнодушная тупость состоятельной публики так потрясла Толстого, что он написал «Люцерн» — рассказ об унижении сытыми людьми голодного человека; написал с такой яростью и болью, что его русские читатели — умные, искушенные читатели, такие, как его тетушка Александра Андреевна, — не поняли его. Они увидели во всем этом случайное бытовое происшествие, обычное дело.

Но для Толстого не обычное. Для него это — «бесчеловечный факт». В мимолетном он увидел бездну. В эту бездну и провалится человечество на его глазах — в бездну равнодушия и того, что он назвал «душевным сном». Может быть, в «Люцерне» Толстой первым написал о европейском лицемерии — лицемерии сытых и довольных собой людей. С силой, почувствовав «невыразимую злобу», ударил по ним бешеный русский граф, в ярости обличений не уступавший бешеному протопопу.

Русский писатель, граф, борода, лохмы, блузка, поясок, сапоги,

боль, гнев, постоянное отчаяние и непонимание со стороны окружающих. И от этого одиночество — пожизненное заключение в самого себя.



Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Русская литература — священный огонь, который русская интеллигенция хранила в своей среде, закрывая своими спинами от ветра, и передавала из поколения в поколение. Передавался этот огонь от высокомерных дворян с пером в руке к дерзким разночинцам в сапогах с кривыми подошвами, а от них к филологическим барышням, переписывающим стихи от руки, к босым толстовцам, починяющим избы вдовам, к изысканным людям Серебряного века, пьющим Клико, и дальше — к людям шестидесятых годов, на полках которых ровным рядом выстраивались голубые номера «Нового мира», и к малому кругу диссидентов с их самиздатом. Так,

передаваемый из пригоршни в пригоршню, шел этот огонь через время, пока была интеллигенция. А как ее не стало — некому стало сохранять и передавать. И он погас.

Без воздуха огонь не горит. Без среды литература не живет. Отдельные интеллигенты еще бродят как слепцы и сироты по жизни, но интеллигенция исчезла как (выражаясь большевистским волапюком) прослойка, как класс. Литература была делом ее души, ее страстью, ее болью, ее непреходящим интересом. Интеллигент — это тот, кто сопричастен литературе, кто хоть сам и не пишет, но написанное воспринимает как сердечно-близкое и свое. «Мой Пушкин». «Мой Толстой».

С концом Союза кончилась интеллигенция. Выжила в сталинской душегубке, пережила брежневский паралич, перенесла давление, увольнения, умолчания, партсобрания, цензуру — но не вынесла так называемой свободы, о которой сама же и мечтала, разошлась по углам, растворилась в народе, исчезла.

Никогда еще в истории человечества не писалось столько слов и не было столько писателей, как сегодня, — тысячи, сотни тысяч писателей на просторах интернета и в каталогах издательств. Это и понятно: издательствам нужна новая книга каждые десять минут. Литература стала массовым производством и перестала быть тем, чем была еще недавно, то есть трудом сердца, мукой души и «возможностью невозможного счаствия» (Толстой).

В огромной медиасреде, где у блогера средней руки читателей в десять раз больше, чем было у Пушкина, литература превратилась в игрушки и побрякушки, в модненько и прогрессивненько, в забавно и актуально, в редакторок и авторок, в способ заполнить время и место чем-нибудь и ничем, в невесомый словесный песочек, текущий тонкой струйкой.

Слово теряет вес, между тем как вес — основная характеристика слова. Владимов последний русский писатель, потому что был последним, кто это понимал и умел. Потому и писал свои книги по много лет, что знал — слова должны весить. Добывать их из себя трудно. А можно не добывать, а просто шуршать невесомыми фантиками, создавая более-менее приятный фон жизни... ведь играет же музыка в универсалах и даже в туалетах. Чем литература хуже?

Слов стало слишком много, слова не хуже рубля девальвируются каждый день в бесконечной письменной трепке и трепне, идет потеря веса и значения слова.

В русской литературе есть что-то, глубоко противоречащее нынешнему времени. Она требует, но не развлекает. Она не ублажает, а мучает. Она задает вопросы, которые не хочется слышать. Она не умещается в клип. Во время маленьких коротких высказываний она длинными страницами тянет свои описания природы и человека. Во время искомой и комфортной легкости бытия она как будто нарочно глубока и тяжела.

Двадцатый инженерный век сделал очень много для человеческого комфорта. Холодильники, лифты, посудомоечные машины, радио, телевидение, автомобили и прочая, и прочая — так работала понятая инженерами человечность. В мире, который они создавали, удобно жить. Толстой недаром со скепсисом и недоверием относился к техническому прогрессу — он понимал, что технический прогресс подменяет собой внутренний, духовный прогресс человека. Литература — это не про удобство жизни.

Двадцатый первый программистский век делает и еще больше

сделает для человеческого комфорта. Интернет, онлайн-сервисы, электронная почта, социальные сети, сетевые хранилища данных, умный дом, мессенджеры, ИИ — теперь речь идет о том, чтобы физический комфорт человека дополнить комфортом умственным. Комфорт понимается как облегчение и отсутствие труда. Посудомоечная машина освободила человека от необходимости мыть посуду, ИИ освободит его от необходимости самому искать ответы. Русская литература не вписывается в это общемировое движение, а упорно и безнадежно противоречит ему.

Есть эпохи и явления, которые можно воспринимать и наблюдать как законченную, имеющую начало и конец вещь. Таковы литература Древнего Рима, Ренессанс и Шестидесятые — Катулл, Микеланджело и Дженис Джоплин прекрасны, но они вне современности, вне ее темпа, ритма, этики и эстетики. И русская литература, триста лет бывшая сутью и солью русской жизни, — в этом ряду.

Русская литература как литература исключительного внимания к человеку и страстного сочувствия ему — ушла, исчезла.

Вся настоящая на крови и плоти человеческой, русская литература плохо вписывается в стерильный цифровой век, состоящий из ничем не пахнущих единиц и нулей. Она слишком велика и громоздка для компактной современности, которая предпочитает приятный дизайн в стиле Икеи и увлекательно-развлекательные книжки в цветных обложках. Она маниакально моральна и этим плохо подходит жизни без больших моральных заморочек. Она наделена суровой и не исчезающей памятью — памятью о военных поселениях, шпицрутенах, войнах, расстрелах, лагерях — и с наспрененным

лбом упорно говорит об этом, тогда как все меньше людей хотят слушать ее рассказы о страшных вещах.

Осталась вывеска — вывеска великой русской литературы нужна издательскому бизнесу и тем пишущим, которые, набрав воздух в грудь, заявляют себя русскими писателями. Они переняли у тех, прежних, название писателей и с важностью самопричислили себя к русской литературе... которой как целого и как явления больше нет. Самозванцы живут в симулякре.

Писатель как творец новой веры? Никому не нужна новая вера, можно жить без веры или уютно устроиться в старой. Иногда наряду с театром и рестораном можно сходить и в церковь, но чтобы с яростью и страстью проповедовать истину в самодельных трактатах и социальных сетях? Это смешно.

Писатель как инженер человеческой души? Дипломированные психотерапевты, лично учившиеся у Фрейда, за сносную плату раскроют вам ваши родовые травмы и на пальцах объяснят несложную механику вашей души.

Писатель как создатель эпопеи? Сериалы заменили эпопеи. Готовые картинки вкладывают зрителю прямо в мозг, усилие воображения, как при чтении, не требуется. И страниц переворачивать не надо! Приятно!

Писатель как образчик вкуса? Но есть же Пьер Карден и Ольга Бузова!

Писатель как глас вопиющего в пустыне, больше не выносящего весь этот срам и бедлам? Но пустыни давно нет, она превратилась в элитный квартал с бизнес-центром, бутиком и кофейней, где хорошо одетые люди пьют авторский кофе. Лев Николаич, ну куда ты лезешь в своем ру比ще с моральной проповедью? Дай людям спокойно пить миндальный латте!

СНОСКИ

1. Кин Виктор Павлович (1903–1938) — писатель, расстрелян в 1938 г.
2. Васильев Павел Николаевич (1910–1937) — поэт, расстрелян в 1937 г.
3. Новиков Андрей Никитич (1889–1941) — писатель, расстрелян в 1941 г.

Этот материал вышел в пятнадцатом номере «Новая газета. Журнал». Купить его можно в [онлайн-магазине](#) наших партнеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:



[«На подоконнике палаты № 6»](#)

Проза Рида Грачёва тянется плоским пространством: ни вдоха, ни выдоха, ни взлёта души — ровная гладь

17:27, 11 ноября 2025, Алексей Поликовский